

Валентин Оскоцкий

К л ю ч е в ы е с т р о к и

(Этюд о поэте)

Входя в творческий мир поэта, всегда стараюсь отыскать ключевые строки, которые служили бы камертоном его голоса. Такие строки Сэды Вермишевой слышатся мне в ее признании, обращенном к Армении:

На языке ином
Моя строка.
Но я живу в тебе,
В твоём зачата чреве.
Задумана и рождена тобой.

Это именно камертонные строки. Потому что в них не просто географические, но раньше и прежде всего духовные координаты тех болевых точек, прикосновение к которым, как к оголённому проводу, высекает мгновенную искру лирического чувства, настроения и переживания, поэтического самовыражения. Поэт «каждой своей клеткой чувствует болевые точки России и Армении», – говорит о Сэде Вермишевой Зорий Балаян, предваряя своим словом книгу ее стихов **«Щербатая клинопись»** (Рязань, «Узорочье», 1999). Допускаю, что его суждение публициста навеяно теми же строками, какие обожгли и меня, критика:

Память моя –
Пепелище.
Горечь пустого
Гнезда...

Это о себе, о своей памяти сердца, которая, как замечено в позапрошлом веке – теперь уже позапрошлом! – «сильней рассудка памяти печальной». И, как убедил нас минувший XX век, тем сильнее, чем больше кровотоцит.

Еще бы не кровоточить под ураганным напором не просто ветра над скалами, но, как сказано поэтом, черного ветра. В его яростно сокрушающих шквалах и неумемное буйство природных стихий, разрушивших Спитак, –

Только бы не было
Землетрясенья,
Беды другие
Народ мой – снесет! –

и разгул стадных инстинктов звероподобных толп, учинивших сумгайтскую бойню, которая вот уже несколько лет нестерпимо жжет мало сказать укором – отчаянием и проклятием, стыдом и позором:

Так плачьте же,
Люди!..
Ну что ж
Вы молчите?..

Не к жертвам резни вызывает поэт: их слезы высушены страданием, общенародной бедой и общенародным горем. Вызывает к современникам преступления, замолчавшим человеконенавистничество геноцида и вообще предпочевшим не называть геноцид его собственным именем...

И Спитак, и Сумгаит, в свою очередь, существуют не сами по себе. Они «булыжник в окна наших дней», какими слышно и внятно швыряет в нас «веков минувшая страда» – раскаленная лава вулканических извержений. На многовековом древе национальной истории ее трагедийные кольца отличны от годовых колец, какие видны на срезе спиленного ствола. На историческом древе нации, устремленном ввысь, широко и густо разветвленном, вольно раскидистым, они вовсе не наглухо сокрыты толстой корой и пышной листвой. Тем паче от поэта, чья «Щербатая клинопись, // Непрочтённая, // На скале», запечатлела образ пылающей родины:

Она металась,
Словно в тяжком сне...

Заламывая,
Руки простирала
Она

Ко мне...

Среди многих дат, багрово светящихся в этих простертых руках, – 1915 год. Неистребимая память о нем живет в национальных генах армянского народа, включая и те нынешние, самые молодые поколения, к которым принадлежат уже не дети, а внуки Сэды Вермишевой. Им сегодня внимать ее пламенным словам:

Армянка я.
И я хочу сказать
Во всеуслышанье,
Что нацию мою
В пятнадцатом году
Убили.
Ее рубили и в крови
Топили,
А мир сумел при этом
Промолчать.
.....
Никто нам не помог.
Никто
Не спас.

Обострённое чувство армянской боли, естественно, располагает к отзывчивости на беды и раны России, увиденные подчас апокалипсически:

Ты гибнешь.
И люди –
Спешат
По твоим
Мостовым
В далекие дали,
Иные,
Презревши
Отечества
Дым...

Однако, понимая, принимая и разделяя эту отзывчивость сострадательного слова поэта на боль российскую, не могу не оговориться и не поспорить на полях «Щербатой клинописи» как с самой Сэдой Вермишевой, так и с Зорием Балаяном, чей отзыв открывает книгу. Апокалипсическое видение современной России мне лично представляется избыточно форсированным. Не в предсмертной агонии напрягается она из последних сил, а сосредотачивается в неутолённой жажде обновления. И не извне, как полагает автор вступительного слова, навязаны драматичные противоречия, которые раскалывают ее и раздирают, а порождены внутренним состоянием общества – экономическим и политическим, социальным и духовным. Оно отзывается смятием умов и душ, способных иной раз додуматься до того, чего не навеет и не подскажет и самое злоумышленное закордонное чужебесие. Вплоть, к примеру, до назойливого совета крикливого национал-большевистского провокатора из газеты «Завтра» российскому президенту незамедлительно принять указ о введение смертной казни «за малейшее русофобское высказывание». Словно и не исчерпала Россия лимит на кровь за три четверти века советской истории! Да и за постсоветское десятилетие, в ходе которого никто со стороны не навязывал России обеих чеченских войн, – она безрассудно впряглась в них по собственной охоте...

И Армения, и Россия в миропонимании Сэды Вермишевой – равноправные краеугольные опоры, двуединые фундаментальные основания мироздания, которому сродни крупные масштабы, не планетарные даже, а вселенские. Не случайно импрессионистски мимолетная строка «Вселенная // Мои глаза // Впитала...». Как не случайно и философски цельное стихотворение о Вселенной, до которой подняты, расширены и армянский, и российские миры:

Я тороплюсь.
Мне нужно стать Вселенной.
Мне воздухом Отчизны нужно стать.
И землю омывать потоком белопенным,
И в радуге оранжевой сиять...

Мне нужно миром стать,
Горячим и нетленным.

И тишину,
Как яблоко,
Разъять...

И тематические мотивы, и их образное воплощение стимулирует в стихах Сэды Вермишевой патетическую интонацию. В ее лексическом и стилевом ключи такие, например, строки:

Армения,
Кавказских гор орлица.
Моя любовь,
Моей надежды храм...
Дай к родникам твоим мне,
Родина,
Пробиться,
К твоим звенящим,
Вечным родникам...

Закономерная в поэзии вообще и присущая поэту, в частности, патетика настоятельно требует, однако, постоянной выверенности безотказным чувством меры, единственно могущим воспрепятствовать перерастанию ее в ораторство с привкусом митинговой трибуны. Надежно ли защищена от него Сэда Вермишева? Похоже, не всегда. Сожалеть об этом побуждают верхние регистры, на которых произносится один и тот же глагол, чрезмерно эксплуатируемый в ряде стихотворных обращений к обетованной земле предков:

Люблю твои выси,
Снега и ручьи...
Я воздух люблю твой,
Сухой и горячий,
Всей кровью своюю...
.....
Как я люблю
Твоих нагорий грусть...
Люблю свирель твою,
Внесенную с утра...
.....
Книгу жизни
Твоей
По страницам
Читаю,
И так трудно,
И вольно
Люблю...

Три строфы из трех разных стихотворений. И всюду – люблю, люблю, люблю! Как будто кто сомневается в любви, как будто в ней приходится убеждать кого-то. И как будто любовь надо непременно подтверждать напряжением голосовых связок! Кому как, а мне лично дороже и ближе признания в любви, которые не выкрикивают, а произносят шепотом. Иначе, как иронизировал Олег Ефремов над патриотизмом, впадающим в саморекламную театральность, «хотим создать союз любви к своим матерям, что ли? Ну давайте»...

В искусстве шопот зачастую слышнее и громче крика. Тот же излюбленный поэтом глагол, но в другой оркестровке и звучит по-другому:

Мне здесь
И любить,
И работать,
Мне здесь свое слово
Сказать.

И черная,
Смертная копоть
Глаза мне не сможет застлать.

Право же, ясный и светлый взгляд, отторгающий черные наваждения копоты, впечатляет сильнее троекратного «люблю» с предполагаемым восклицательным знаком. Без него легко обходится и короткое стихотворение, в котором раздумчивые вопросы намного значимее возможных восклицаний:

Тихой любовью,
Невыносимой,
Сердце томится, —
Куда я иду?
И на какие еще клавиши
Музыку сердца зеленой долины,
Пшата, кустарника,
Осени синей,
Я, наклоняясь над миром,

Пролью?..

Потому значимей, что, заданные вполголоса – любовь-то названа тихой! – не обесцвечивают и не обеззвучивают мир, опрокинутый в сердце поэта, а оставляют его произвольным самопроявлением нестесненный простор, который наполнится колоритными красками и звуками.

Впрочем, досадуя на чрезмерность, пеняя на излишества патетики в некоторых стихах Сэды Вермишевой, я списываю их на темперамент поэта, родная стихия которого не пассивное созерцание окружающего мира, а активное деяние в этом мире. Отсюда и признание в сокровенном – энергичный, волевой порыв к действию:

А мне так хочется схватить
Рукою горы,
Ночи,
Небо,
Во что-то новое отлить,
И эту смесь
Вина и света,
Не отрываясь, пить и пить...

Преобладание патетики позволяет назвать «Щербатую клинопись» книгой преимущественно проповеднической. В отличие от нее лирика, собранная в книге **«Крыло любви»** (Рязань, «Узорочье», 2000), по преимуществу исповедальна. Ее заглавный образ многогранен, как многогранно земное бытие, которому равно ведомы, говоря строками Сэды Вермишевой, не только окрыляющая любовь, но и печаль, и смерть. Перед лицом их жизнедеятельная натура поэта не чурается доверительных откровений, которыми выдает грусть и тоску, даже в сиянии солнечного дня проникающие холодом ночи не просто в дом, а в самое сердце.

Хоть солнце в окошке –
В дому мне –
Невмочь.
Мне худо,
Мне тяжко,
Мне сир...

На острые гвозди
Натянута ночь,
И зрелище звёзд
Мне постыло...

Но и в расслабляющие минуты душевной смуты, под гнетом усталости неизменно верная себе натура поэта остается сильной и стойкой. Горькая правда жизни очистительней для неё, нужнее ей и дороже обворожительной лжи, сулящей обманчивое успокоение.

Лгать не умею
И не хочу.
Ложью выкармливать сердце –
Не стану.
В двери твои я
Не постучу, –
Прошлого снятся мне
Белые
Ставни...

И проповедь, и исповедь – таков диапазон лирического чувства, поэтического слова Сэды Вермишевой. Органичный ее творческой индивидуальности, он задан и теми опорными традициями, которые воплощены в наследии великих предшественников, чьи имена священны для современника. Среди этих имен – Паруйр Севак, которому посвящено проникновенное стихотворение-раздумье о призвании творца и смысле творчества:

Так стой, поэт! –
В запасе есть минута!
Пока разрыв еще не наступил,
И Каин не убил, и целовал Иуда, –
Твори, поэт, –
Пусть из последних сил...

Эти пафосные строки тоже из тех ключевых, о камертонном значении которых я говорил в начале своего этюда критика о поэте...